

Уважаемые господа академики! Вы оказали мне честь, предложив составить для Академии отчет о предыстории моей жизни в бытность обезьяной.

К сожалению, я не могу исполнить вашу просьбу. Вот уже пять лет отделяют меня от моего обезьяньего естества; срок этот, если рассматривать его с точки зрения вечности, весьма короток, но для меня он был бесконечно долгим; и хотя мне повезло и я встречал на своем пути превосходных людей, не скупившихся на советы и рукоплескания, хотя я двигался вперед под гром оркестров, в сущности я всегда был одинок; люди, помогавшие мне, говоря образно, оставались далеко за барьером. Я никогда не достиг бы успеха, если бы упрямо цеплялся за прошлое, за воспоминания юности. Именно отсутствие упорства в этом вопросе было той главной заповедью, каковую мне следовало выполнять. И я, дитя свободы, подчинился любому гнету. Посему воспоминания мои все больше и больше тускнели. Вначале, если бы люди того пожелали, я еще мог легко вернуться к прежней жизни – ворота, ведущие к ней, были распахнуты настезь, но чем сильнее меня подхлестывали и чем скорее я цивилизовался, тем ниже и уже делались эти ворота и тем лучше и уверенней чувствовал я себя в мире людей; ураган, вырвавший меня из моего прошлого, давно уже стих, я ощущаю сейчас только легкий ветерок, приятно щекочущий мне пятки, а брешь, через которую этот ветерок проникает и через которую я сам когда-то появился, стала совсем крохотной; если бы даже у меня хватило сил и воли добраться до нее, то уж пролезть, не ободрав всю шкуру, я не смог бы. Называя вещи своими именами – хотя в таких случаях предпочтительнее выражаться иносказательно, – называя вещи своими именами, я должен заявить, господа, что ваше обезьянье естество, если оно у вас есть, так же глубоко схоронено, как и мое. Да и ветер обезьяньего прошлого щекочет пятки всем смертным без исключения – от маленького шимпанзе до великого Ахиллеса.

И все же, господа, я могу частично осветить вопрос, поставленный Академией, что и делаю с превеликим удовольствием. Первое, чему я научился, – это рукопожатие; рукопожатие – символ чистосердечия. Так пусть же теперь, когда я стою на вершине славы, к тому давнему рукопожатию прибавятся мои нынешние чистосердечные слова. Правда, Академия не извлечет из них ничего принципиально нового; это далеко не то, что вы, господа, хотели бы от меня услышать и что я при всем желании не могу вам поведать, но, как бы то ни было, мой отчет покажет ту основную линию, следуя которой прежней обезьяне удалось проникнуть в человеческое сообщество и укорениться там. Разумеется, мне не следовало бы делать даже те незначительные признания, которые я делаю, если бы я не был так в себе уверен и если бы не занимал таких поистине незыблемых позиций на сценах всех крупных варьете цивилизованного мира.

Родом я с Золотого Берега. О моей поимке я знаю только с чужих слов. Как-то вечером одна из специальных экспедиций фирмы «Гагенбек» – кстати сказать, с главою этой фирмы я распил с тех пор немало бутылок доброго красного винца – залегла в прибрежных кустах; в это время к водопою подбежала стая обезьян – среди этих обезьян был и я. Раздались выстрелы; я был единственный, в кого попали; меня ранили дважды.

В щёку – эта рана оказалась легкой, но от нее у меня остался большой голый красный рубец, которому я обязан отвратительным, ни с чем не сообразным прозвищем «Красный Петер» – поистине обезьяньей выдумкой. Можно подумать, что я отличаюсь от недавно околешней дрессированной обезьяны Петера, снискавшей себе некоторую известность, всего лишь красной отметиной на щёке. Говорю об этом между прочим.

Вторым выстрелом меня ранило чуть пониже бедер. Рана оказалась тяжелой – до сих пор я слегка прихрамываю. Не так давно я прочел в статье, вышедшей из-под пера одного из тех тысяч газетных писак, которые болтают обо мне, нижеследующее: мое обезьянье нутро, мол, еще дает о себе знать; доказательством может служить тот факт, что я с особым удовольствием снимаю с себя штаны в присутствии посетителей, демонстрируя пулевое отверстие в шкуре. Пусть же у малого, который это написал, отсохнут по очереди все пальцы! Да, я могу спокойно снимать штаны перед кем мне заблагорассудится, глазам зрителей не откроется ничего, кроме хорошо ухоженного обезьяньего меха и шрама, оставшегося от того наглого выстрела, – я позволю себе употребить в данном конкретном случае это слово, но не желаю, чтобы меня истолковали превратно, – шрама от наглого выстрела. Все у меня на виду, мне нечего скрывать, и вообще ради выяснения истины любое мыслящее существо с широкими взглядами вправе поступиться правилами этикета. Конечно, если бы в присутствии посетителей свои штаны снял вышеупомянутый господин писака, мы имели бы совсем иную картину; то обстоятельство, что он этого не делает, я считаю проявлением его здравого смысла. Так пусть же по крайней мере не лезет с нравочениями!

Придя в себя после ранения, я увидел, что нахожусь в клетке на средней палубе парохода фирмы «Гагенбек» – с этого времени и начинаются постепенно мои личные воспоминания. Клетка, в которую меня заключили, оказалась не совсем обычной: три решетчатые стены замыкались деревянной стенкой ящика; таким образом четвертая стена моей темницы оказалась дощатой. Все сооружение было таким низким, что в нем нельзя было выпрямиться, и таким узким, что невозможно было сидеть. Мне пришлось примоститься на корточках, согнув ноги; колени у меня беспрерывно дрожали; видимо, в те дни я никого не желал видеть, предпочитая оставаться в темноте; поэтому я сидел, уткнувшись в дощатую стену клетки, и железные прутья врезались мне в спину. Вышеописанный способ содержания диких зверей непосредственно после поимки считается наилучшим; исходя из собственного опыта, я не могу отрицать, что, с человеческой точки зрения, это так и есть.

Но в то время я об этом не думал. Впервые в жизни у меня не оказалось выхода, во всяком случае прямого выхода; передо мной находилась стена ящика, все доски которой были плотно пригнаны друг к другу. Правда, я вскоре обнаружил в стене щель и по тогдашнему недомыслию озаменовал это открытие радостным воем, но щель была так мала, что в нее невозможно было просунуть даже хвост, и всей моей обезьяньей силы не хватило бы на то, чтобы расширить ее.

Как мне сообщили позже, я производил в то время поразительно мало шума; из этого заключили, что я либо быстро погибну, либо, если мне удастся пережить критический период, очень легко поддамся дрессировке. Как известно, период этот я пережил... Моя новая жизнь была вначале заполнена тем, что я мрачно скулил, болезненно морщась, искал блох, устало вылизывал кокосовые орехи, стучал головою о дощатую стенку и скалил зубы, когда кто-нибудь приближался ко мне. Но чем бы я ни занимался, мною владело одно чувство: выхода нет! Разумеется, мои тогдашние обезьяньи переживания я могу передать сейчас только человеческим языком и, значит, не совсем точно. Теперь я и сам уже не в силах познать прежнюю обезьянью истину, но, во всяком случае, брожу где-то близко; в этом можно не сомневаться.

Да, до сих пор у меня было сколько угодно выходов, а теперь вдруг не осталось ни единого. Я зашел в тупик. Я был так прикован к месту, что, если бы меня прибили гвоздями, мое положение не ухудшилось бы. А почему? Не поймешь ничего, хоть раздери себе в кровь пальцы ног. Не поймешь ничего, хоть упрись спиной в решетку с такой силой, что она тебя чуть ли не перережет надвое. Выхода не было, но я должен был его найти, ибо без этого не мог существовать. Нельзя же весь век просидеть перед дощатой стеной – так и подохнуть недолго. Но, согласно Гагенбеку, обезьяна должна сидеть перед дощатой стеной... Вот я и перестал быть обезьяной! Ясное и логичное умозаключение, до которого мне пришлось дойти собственным животом, потому что обезьяны мыслят животом.

Боюсь, что вы неправильно поймете то, что я понимаю под словом «выход». Я употребляю его в первоначальном и прямом смысле. Я умышленно не говорю о свободе. Великое чувство свободы – всеобъемлющей свободы – я оставляю в стороне. Весьма возможно, я испытал его, будучи обезьяной; позже мне встречались люди, которые стремились к свободе. Лично я не требовал свободы ни тогда, ни теперь. Между прочим, люди очень часто обманывают себя этим словом. Свободу причисляют к самым возвышенным чувствам, поэтому и ложь о свободе считается возвышенной. Часто перед выступлениями на сцене варьете я наблюдал за какой-нибудь парой, работавшей на трапециях под самым куполом. Они раскачивались, взлетали вверх, прыгали, перелетали в объятия друг друга; один держал другого зубами за волосы. «И это люди тоже называют свободой, – думал я, – свободой движения!» Какое издевательство над матерью-природой! Если бы обезьянам показали эту «свободу», от их гомерического хохота рухнули бы стены цирка.

Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода – направо, налево, в любом направлении, других требований я не ставил; пусть тот выход, который я найду, окажется обманом, желание было настолько скромным, что и обман был бы не бог весть каким. Я должен был двигаться вперед и вперед! Только бы не стоять, подняв лапы, только бы не чувствовать себя припертым к дощатой стене. Ныне я ясно вижу: мне никогда не удалось бы вырваться из клетки, если бы не огромное внутреннее спокойствие. Действительно, всем, чем я стал, я обязан, наверно, спокойствию, которое я обрел после нескольких дней жизни на пароходе. А спокойствием я в свою очередь обязан людям, окружавшим меня.

Несмотря ни на что, это были хорошие люди. Я и по сей день охотно вспоминаю их тяжелую поступь, стук их башмаков, который проникал в мое дремлющее сознание. Все, что они делали, они делали крайне медленно. Когда кто-нибудь из них хотел потереть себе глаз, он подымал руку так, словно это была многопудовая гиря. Шутки их звучали грубо, но они шли от чистого сердца. Смех их сопровождался угрожающим кашлем, но это ничего не значило. Им всегда надо было сплюнуть, и они плевали куда попало. Они без конца жаловались, что из-за меня их заели блохи. Но они никогда не сердились на это всерьез. Люди эти хорошо понимали, что у обезьян водятся блохи и что блохи мастера прыгать. С этим обстоятельством, хочешь не хочешь, надо мириться. В свободное от службы время кое-кто рассаживался полукругом перед моей клеткой; они сидели молча и только что-то бормотали себе под нос или, растянувшись на ящиках, покуривали трубки; но стоило мне шевельнуться, как они ударяли себя по ляжкам; время от времени кто-нибудь брал палку и щекотал меня там, где мне было всего приятней. Если бы мне предложили сегодня отправиться путешествовать на этом пароходе, я бы наверняка отказался, но так же наверняка я знаю и то, что у меня с этим пароходом связаны отнюдь не только плохие воспоминания.

Спокойствие, приобретенное мною в кругу команды, удержало меня прежде всего от каких бы то ни было попыток бегства. Бросая взгляд на прошлое, я считаю, что уже тогда я предчувствовал – пусть только предчувствовал, – что мне необходимо найти выход, если я хочу остаться в живых, и что достичь этого выхода с помощью бегства невозможно. Не знаю, удалось бы мне убежать, но думаю, что удалось бы; для обезьяны в этом вопросе нет ничего невозможного. Сейчас у меня настолько слабые зубы, что приходится соблюдать осторожность, даже разгрызая орехи, но в то время я рано или поздно перегрыз бы замок в дверце. Я этого не сделал. Да и что бы мне это дало? Стоило мне высунуть голову, как меня бы поймали и посадили в новую клетку, еще хуже прежней. Если бы мне вдруг удалось незаметно пробраться в клетку к другим пленникам – к огромным змеям, например, – и в их объятьях я испустил бы дух! Предположим также, что я незаметно вылез бы на верхнюю палубу и прыгнул за борт; некоторое время я держался бы на поверхности океана, а потом утонул бы. Все это были бы акты отчаяния! Конечно, в то время я еще не рассуждал по-человечески, но под влиянием среды поступал так, словно рассуждаю.

Да, я не рассуждал, зато наблюдал с удивительным хладнокровием. Я видел, как мимо меня сновали люди; у них были одинаковые лица, одинаковые движения, часто мне казалось, что это ходит один и тот же человек; этот человек – или эти люди – беспрепятственно передвигался. Передо мной забрезжила великая цель. Люди не обещали мне, что решетки моей темницы падут, как только я стану таким, как они. Нельзя ничего обещать, если условия кажутся заведомо невыполнимыми. Но достаточно их выполнить, как обещания даются задним числом, хоть ты на них и не рассчитываешь... Жизнь тех людей, среди которых я находился, отнюдь не прельщала меня. Если бы я был приверженцем упомянутой выше свободы, я наверняка предпочел бы прыжок за борт тому выходу, который прочел в хмурых человеческих глазах. Как бы то ни было, прежде чем я начал задумываться о подобных вещах, я долго следил за людьми, и именно мои наблюдения, накапливаясь, толкали меня на определенный путь.

Не было ничего легче, чем подражать людям. Уже в самые первые дни я научился плевать. Я и люди начали плевать друг другу в физиономию; разница между нами заключалась лишь в том, что я мог вылизать свою физиономию, а они – нет. Вскоре я наловчился курить трубку, как заправский курильщик, а когда я прижимал большим пальцем табак, вся средняя палуба ликовала; только одного я долго не мог постичь – разницу между пустой трубкой и трубкой набитой.

Но больше всего я намучился с водкой; я не выносил запаха спиртного; напрасно я пытался перебороть себя, прошло много недель, прежде чем мне это удалось. Как ни странно, к внутренней борьбе, которую я вел из-за водки, люди относились на редкость серьезно – серьезней, чем ко всему остальному. Даже теперь, вспоминая прошлое, я не различаю отдельных лиц в моем тогдашнем окружении, помню только, что какой-то человек беспрестанно подходил к моей клетке – один или с товарищами, – в самое разное время дня и ночи он становился возле клетки и давал мне наглядный урок. Я был непостижимым существом для него, и он пытался разгадать меня. Мой учитель медленно раскупоривал бутылку и бросал на меня внимательный взгляд – хотел удостовериться, что я понял его; признаюсь, я следил за ним, затаив дыхание, совершенно замороженный его действиями; ни один учитель на всем земном шаре не имел такого старательного ученика; раскупорив бутылку, он подносил ее ко рту, а я, не отрываясь, следил за каждым его движением; тогда он одобрительно кивал мне и прижимал горлышко бутылки к губам; в этот момент я чувствовал, что постепенно прозреваю, и с радостным визгом начинал судорожно чесаться где попало; мой обрадованный учитель, не отнимая бутылки ото рта, делал первый глоток; и тут я,

объятый терпением и в то же время полный отчаяния из-за того, что наука так трудно дается, пачкал пол клетки, что опять-таки приносило моему учителю большое удовлетворение; он далеко отводил руку с бутылкой, а потом одним молниеносным движением снова подносил ее к губам и залпом выпивал водку, откинув голову назад; для наглядности даже дальше, чем нужно. Измученный всем пережитым, я бессильно повисал на прутьях клетки, а он, закончив теоретическую часть курса, поглаживал себя по животу и ухмылялся.

Только после этого мы приступали к практическим занятиям. Но не слишком ли переутомила меня теория? Да, слишком. Что делать, уж так мне было назначено судьбой. И все же я старался изо всех сил. Схватив бутылку, протянутую мне учителем, я, дрожа, раскупоривал ее; удача придавала мне сил; я подымал бутылку – мою работу трудно было отличить от работы самого учителя – подносил ее к губам и... с отвращением швырял прочь, с отвращением, хоть она и была пустая и от нее только несло водкой. Моя неудача огорчала учителя и несказанно огорчала меня самого; не примиряло нас с ней даже то обстоятельство, что, отшвырнув бутылку, я никогда не забывал старательно погладить себя по животу и ухмыльнуться.

Так проходили наши занятия. К чести моего учителя должен сказать, что он не сердился на меня; правда, иногда он тыкал в мою шерсть горячей трубкой и делал «то до тех пор, пока шерсть не начинала тлеть как раз в том месте, где мне трудно было потушить ее; но он сам тушил огонь своей громадной доброй ручищей; мой учитель не сердился на меня; он понимал, что у нас с ним один враг – моя обезьянья натура и что наиболее тяжелая борьба выпала на мою долю.

Зато как мы оба радовались нашей победе! Это произошло в один прекрасный вечер при большом стечении публики; по всей вероятности, было какое-то празднество: на палубе играл граммофон, среди команды прогуливался офицер – и вдруг, в тот момент, когда никто за мной не наблюдал, я схватил бутылку водки, которую по недосмотру оставили около моей клетки, и при нарастающем внимании зрителей откупорил ее точно по правилам, поднес ко рту и без колебаний, даже не поморщившись, осушил до дна, как самый заправский пьянчуга; правда, глаза вылезли у меня из орбит, да и дыхание перехватило; потом я швырнул пустую бутылку прочь, но не как отчаявшийся неудачник, а как мастер своего дела; и хотя я забыл погладить себя по животу, но зато, повинувшись неодолимому желанию, чувствуя, что у меня шумит в голове, громко и отчетливо крикнул «алло» – иными словами, заговорил членораздельно; благодаря этому кличу я сразу перескочил из своего прошлого в сообщество людей; ответные возгласы зрителей: «Послушайте только, ведь он говорит!» – словно поцелуй, ласкали мое обливающееся потом тело.

Повторяю, меня не прельщало подражать людям; я подражал им только потому, что искал выход, иных причин у меня не было. Первая победа дала мне не так уж много. Я сразу же потерял дар речи и обрел его снова лишь через много месяцев, а отвращение к спиртному пробудилось у меня с удвоенной силой. И все же передо мной тогда открылась прямая дорога – раз и навсегда.

В Гамбурге, попав к моему первому дрессировщику, я вскоре понял, что для меня существуют две возможности: зоологический сад или варьете. Я не колебался ни секунды. Я сказал себе так: «Надо приложить все силы, чтобы попасть в варьете, это единственный выход; зоологический сад – не что иное, как новая клетка. Попадешь в нее – и ты погиб».

И тут, господа, я начал учиться. Эх, что и говорить, когда надо, хочешь не хочешь, а приходится учиться. Мне необходимо было найти выход, и я учился как одержимый. Я не давал себе ни минуты покоя, я нещадно вытраивал из себя все, что мне мешало. Обезьяний дух вылетал из меня с такой силой, что мой первый дрессировщик чуть было сам не превратился в обезьяну; уроки пришлось прекратить, потому что его отправили в лечебницу. К счастью, он вскоре вернулся.

Мне понадобилось много учителей, иногда я обучался у нескольких педагогов сразу. А когда я уверовал в свои силы, когда мои успехи стали достоянием широкой гласности, а мое блистательное будущее окончательно определилось, я сам начал нанимать себе учителей; я рассказывал их по пяти комнатам, расположенным одна за другой, и учился одновременно у всех, без усталости перебегая из одной комнаты в другую.

Какие успехи я тогда делал! Свет знаний со всех сторон проникал в мой пробуждающийся мозг! Не хочу скрывать – я был счастлив. И в то же время утверждаю: не тогда, ни тем более теперь я не переоценивал своих достижений. Невиданной доселе в истории концентрации воли я достиг уровня среднего европейца. Быть может, сам по себе этот факт и не заслуживает особого внимания, однако для меня он значит многое: я вырвался из клетки и обеспечил себе искомый выход, оказавшийся выходом в человеческое естество. Существует прекрасное выражение – «спрятаться в кусты»; именно так я и поступил, спрятался в кусты. Никакой иной возможности у меня не было, если учесть, что свободы я не мог добиться.

Бросая ретроспективный взгляд на пройденный путь и на ту цель, которую я себе ставил, я не испытываю ни сожаления, ни радости. Вот я сижу, руки в карманах брюк, сижу, развалившись в качалке, и смотрю в окно; передо мной на столе бутылка вина. Если ко мне явятся гости, я приму их подобающим образом. В прихожей сидит мой импресарио; когда мне надо что-нибудь сказать ему, я звоню; он приходит и выслушивает меня. Почти каждый вечер я выступаю; мои сценические успехи столь велики, что они навряд ли могут еще возрасти. Далеко за полночь, когда я возвращаюсь домой после банкетов, парадных приемов в Академии или веселых вечеринок, меня ожидает маленькая дрессированная обезьянка – шимпанзе, и я развлекаюсь с ней на обезьяний лад. Днем я не желаю ее видеть; в ее взгляде сквозит безумие, так же как во взгляде всех дрессированных, сбитых с толку животных; никто, кроме меня, этого не замечает, но я этого не выношу.

В общем и целом я достиг того, к чему стремился. Нельзя сказать, что игра не стоила свеч. Оговариваюсь заранее, меня не интересует мнение людей; моя цель – широкая информация; я сообщаю факты и больше ничего; в этом отчете, уважаемые господа академики, я придерживаюсь одних лишь фактов.